



АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

*ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Аркадий Тимофеевич Аверченко

Юмористические рассказы

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68779374

Юмористические рассказы:

ISBN 978-5-17-152670-2

Аннотация

Отношения мужчин и женщин, родителей и детей, семейная жизнь и повседневные заботы, бурный взлет общественно-политической жизни и новейших веяний в искусстве Серебряного века, – писатель шутит обо всем, в основном благодушно и доброжелательно, но временами – и с горькой иронией.

Ситуации и герои, представленные в рассказах автора, зачастую гротескны – и от этого еще более правдивы. Именно в таком причудливом изображении действительности обнаруживается мастерство Аверченко и его подлинная житейская мудрость.

В этом сборнике представлена блестящая коллекция рассказов, наполненная искрометным юмором, живой и остроумной сатирой на нравы и быт русского общества начала XX века.

Содержание

Автобиография	5
История болезни Иванова	19
Русская история	25
Почести	32
Робинзоны	38
Путаница	44
Подмости	51
Неизлечимые	58
Золотой век	63
Мозаика	70
Ложь	82
Поэт	91
Здание на песке	98
Лентяй	105
Ниночка	116
Рыцарь индустрии	125
Конец ознакомительного фрагмента.	128

**Аркадий Тимофеевич
Аверченко**

Юмористические рассказы

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись, – ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за

указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который dokonчил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который

не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться. Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распрощившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недостижим!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самым главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преимущественно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем руд-

ничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи большей частью беглыми с каторги, паспортов они не имели и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я.

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповали у селе. Для Божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватив-

шей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.

И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Прodelав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались презрительными отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно смотрящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году, и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом Русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харь-

кове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.



В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

История болезни Иванова

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

– Что с тобой? – спросила жена.

– Плохо! – сказал Иванов. – Я левею.

– Не может быть! – ахнула жена. – Это было бы ужасно... тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.

– Нет... что уж скипидар! – покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. – Я левею!

– С чего же это у тебя, горе ты мое?! – простонала жена.

– С газеты. Встал я утром – ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...

– Ну?

– Смотрю, а в ней написано, что в Ченстохове губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг – чувствую я, что мне его не хватает...

– Кого это?

– Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!

– Ты б молочка выпил... – сказала жена, заливаясь слеза-

ми.

– Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!

Жена со страхом посмотрела на Иванова.

– Левеешь?

– Левею...

– Может, доктора позвать?

– При чем тут доктор?!

– Тогда, может, пристава пригласить?

Как все почти больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

– Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

– Дай-то Бог, – всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащи-

ми губами прошептал:

– Еще полевел! Что оно будет – не знаю!

– Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори!

Читал?

– Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за ука-
зание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

– Мой-то... – сказала она, ломая руки. – Левее.

– Быть не может?! – воскликнул тесть.

– Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартий-
ность чувствовал, а потом оборвалась печенка и полевел!

– Надо принять меры, – сказал тесть, надевая шапку. – Ты
у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку
господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах
у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча
смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчая-
ние.

Вошел пристав. Он потер руки, вежливо раскланялся с
женой Иванова и спросил мягким баритоном:

– Ну, как наш дорогой больной?

– Левее!

– А-а! – сказал Иванов, поднимая на пристава мут-

ные, больные глаза. – Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

– Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

– Октябристом, – вздохнул Иванов. – До обеда – правым крылом, а после обеда левым...

– Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

– Я, собственно, – сказал Иванов, – стою за принудительное отчуждение частновладельч...

– Позвольте! – удивился пристав. – Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

– Значит... я уже кадет!

– Все левее?

– Левею. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и левею.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты. Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робин-

зона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.
– Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

– Господи! – воскликнула несчастная женщина. – Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

– Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! – проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. – Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

– Кончено! – прошептал он, благоговейно снимая шапку. – Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос Эрфуртскую программу. В

углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми.

В комнату вошел пристав. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

– Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

Русская история

Посвящается мин-ву нар. просвещения

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику. Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал. А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне. – Ты чего?

– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

– Ты – чего?!

– Как видите: гербаризацией балуюсь.

– Ты – чего?!?!?

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков. Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные и жилистые кулаки.

– Ты – чего?!?!?

– Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко – я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто. Был он старик белый как лунь и глупый как колода.

– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру пушает.

Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братца... Заходи от-телева!

Студент завопил.

– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся. Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостовери-ло в глазах поселян злокозненность студента.

– Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не

вредный... Ну, хотите – я съем его?

– Бреешь! Не съешь!

– Уверю вас! Съем – и мне ничего не будет.

– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопает!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок. Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.

– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.

По газетным известиям, насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать – нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это

совершенно безопасные вещи?..

– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозвищу Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента избидели.

– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах, – так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое. Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что Луна сама не светит, а отражает только солнечный свет. Когда же студент осмелился нахально заявить, что Земля круглая и что она ходит вокруг Солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке. Почему газеты об этом умолчали – неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

– Дело! – сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там за-платят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.

Васька Свищ молодецкато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

– Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.

– Чего изволишь, батюшка?

– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шап-

ку нужно снять или не надо? Как тебя?

– Ко... Коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.

– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оно в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Винозные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!

– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие губы.

– Благо-о-оодие?! – завопил телеграфист. – Меррзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посадят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил пе-

ред телеграфистом деньги и сказал робко:

– Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

– Осел!!! – рывкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый как лунь и глупый как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

Почести

В № 11981 «Нового Времени» Меньшиков написал *тысячный фельетон*.

Меньшиков проснулся рано утром.

Спустил с кровати сухие с синими жилами ноги, сунул их в туфли, вышитые и поднесенные ему в свое время Марией Горячковой, и сейчас же подошел к окну.

– Погодка, кажется, благоприятствует, – пробормотал он, с довольным видом кивнул головой, – я рад, что погода не помешает народным массам веселиться в радостный для них день юбилея.

Одевшись, он зачерпнул из лампадки горстью масло и обильно смазал редкие, топорщившиеся волосы.

– Для ради юбилея, – прошептал он, ежась от струйки теплого масла, поползшей по сухой согнутой спине.

Через полчаса швейцар суворинского дома открыл на звонок дверь и увидел сидящего в ожидании на ступеньках лестницы Меньшикова.

– Ты чего, старичок, по парадным звонишься? – приветствовал его швейцар. – Шел бы со двора.

– День-то какой ноне, Никитушка!

– Какой день? Обнаковенный.

– Никитушка! Да ведь можешь ты понять, тысячный фе-

льетон сегодня идет!

– Так.

– Ну, Никитушка?

– Да ты что, ровно глухарь на току топчешься? Хочешь чего, что ли?

– Поздравь меня, Никитушка!

– Экий ты несообразный старичок... С чем же мне тебя поздравлять?

– Никитушка!.. Тысячный фельетон. Сколько я за них брани и поношения принял...

– Ну, так что же?

– Поздравь меня, Никитушка.

– Эк ведь тебя растревожило. Ну что уж с тобой делать: поздравляю.

– Спасибо, Никитушка! Я всегда прислушивался к непосредственному голосу народа. Вот обожди, я тебе на водку дам... Куда же это я капиталы засунул? Вот! Десять копеечек... Ты уж мне, Никитушка, три копеечки сдачи сдай. Семь копеечек, а три копеечки мне... Хе-хе, Никитушка...

– На! Эх ты, жила.

– Не благодари, Никитушка... Ты заслужил. Это ведь говорится так – на водку, а ты бы лучше на книжку их в сберегательную кассу снес... Ей-богу, право. Сам-то встал?

– Встал. Иди уж. Ноги только вытри.

– К вам я, Алексей Сергеич...

– Что еще? Говорил я, кажется, что не люблю, когда ты на дом приходишь. Нехорошо – увидеть могут. Если нужно что, можешь в редакции поманить пальцем в темный уголок – попросишь, что нужно.

– День-то какой нынче, Алексей Сергеич!

– А что – дождь?

– Изволили читать сегодня? Тысячный фельетон у меня идет.

– Ну?

– Можно сказать – праздник духа.

– Да ты говори яснее: гривенником больше хочешь за строчку по этому случаю?

– За это я вашим вечным молитвенником буду... А только – день-то какой!

– Да тебе-то что нужно?

– Поздравьте, Алексей Сергеич!

– Удивляюсь... Ну, скажи – зачем тебе это понадобилось? Меньшиков переступил с ноги на ногу.

– Хочу, чтобы, как у других... Тоже, если юбилей, то поздравляют.

– Глупости все выдумываешь! Иди себе с Богом!

Придя в редакцию, Меньшиков подошел к столу Розанова и протянул ему руку.

– Здравствуйте, Василь Васильич!

Близорукий Розанов приветливо улыбнулся, осмотрел

протянутую руку и повел по ней взглядом до плеча Меньшикова. С плеча перешел на шею, но когда дошел до лица, то снова опустил взгляд на бумагу и стал прилежно писать.

– Я говорю: здравствуйте, Василь Васильич!

– ...Брак не есть наслаждение... – бормотал Розанов, скрипя пером. – Брак есть долг перед вечным...

От напряженного положения протянутая рука Меньшикова стала затекать. Опустить ее сразу было неловко, и он сделал вид, что ощупывает карандаш, лежавший на подставке.

– Странный карандашик... Таким карандашиком неудобно, я думаю, писать...

Меньшиков опустил на стул, рядом со столом Розанова, и беззаботно заговорил:

– А я сегодня тысячный фельетон написал. Ей-богу. Можете поздравить, Василь Васильич... Много написал. Были большие фельетоны, и маленькие были. Да-с... Сегодня меня, впрочем, уже многие поздравляли: швейцар Никита – этакий славный чернозем! Алексей Сергеич поздравляли...

– Всякое половое чувство должно быть радостным и извечным... – бормотал, начиная новую страницу, Розанов.

– Я уж так и решил, Василь Васильич: напишу фельетон о печати! Хе-хе! Изволили читать? Вы где, на даче в этом году живете? Впрочем, я думаю, что разговор со мной отвлекает вас? Ухожу, ухожу. Люблю, знаете, с приятелем в беседе старое вспомнить... До свиданья, Василий Васильич...

Меньшиков протянул опять руку, подержал ее три мину-

ты, потом потрогал пресс-папье и сказал одобрительно:
– Славное пресс-папье!

Старческими шагами побрел к кабинету А. Столыпина.
– Здравствуйте, Александр Аркадьич!

Меньшикову очень хотелось, чтобы Столыпин, хотя бы по случаю юбилея, пожал ему руку. Но старый, усталый мозг не знал – как это сделать?

Постояв минут десять у стола Столыпина, Меньшиков пустился на хитрость:

– А вы знаете – через три минуты будет дождь...

– Вечно ты, брат, чепуху выдумываешь, – проворчал Столыпин.

– Ей-богу. Хотите пари держать?

Простодушный Столыпин попался на эту удочку.

– Да ведь проиграешь, старая крыса?

Однако руку протянул. Меньшиков с наслаждением, долго мял столыпинскую руку. Когда Столыпин вырвал ее, Меньшиков хихикнул и, довольный, сказал:

– Спасибо за то, что поздравили!

Потом Меньшиков ушел из редакции и долго бродил по улицам, подслушивая, что говорит народ о его юбилее.

Никто ничего не говорил. Только в трамвае Меньшиков увидел одного человека, читавшего «Новое Время».

Подсел к нему и, хлопнув по своей статье, радостно засмеялся.

– Что вы думаете об этой штуке?

Читавший сказал, что он думает.

Меньшиков вышел из трамвая и долго шел без цели, бормоча про себя:

– Сам ты старый болван! Туда же – в критику пускается.

Вечером сидел у кухарки на кухне и рассказывал:

– Устал я за день от всего этого шума, поздравлений, почестей... Начиная от швейцаров – до Столыпина – все, как один человек. А Столыпин... чудак, право... Схватил руку, трясет ее, трясет, пожимает – смех, да и только! Старик тоже – увидел меня, говорит: что нужно – проси! Отведи в уголок и проси. Ей-богу, не вру! Хочешь, говорит, надбавить – надбавлю. Публика тоже... В трамваях тоже... Обсуждают статью.

Ночью он долго плакал.

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое: Павел Нарымский – интеллигент, Пров Иванов Акациев – бывший шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу. Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

– Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился.

– В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся:

– Ага... Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

* * *

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним уте- сом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, при- близился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся:

– Предварилку строю.

– Нет, нет... Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы стро- ительный устав знаете?

– Ничего я не знаю.

– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

– Отстанете вы от меня?

– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту по- стройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмех- нулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжело вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи. Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебежавшую от дерева к дереву фигуру, прячу-

шуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробежавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

– Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

– Чего вы пристаёте? Занимались бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.

– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право лишь на одну треть... – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!

– Почему это?

– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский. Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить,

ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

* * *

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собой мрачного и решительного Прова Акациева.

– Что вам угодно?

– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком

тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

* * *

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акачиева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

– Вы... живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, до`роги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полтора года лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

Путаница

Радостный трезвон праздничных колоколов – самая предательская вещь... Я не знал ни одного самого закоренелого злодея, который устоял бы против радостного перезвона праздничных колоколов... Были случаи, когда такого закоренелого злодея пытали, мучили, желая вырвать у него хотя бы словечко правды о его преступлении, – он молчал, будто воды в рот набравши... Но стоило только радостно и празднично зазвонить над его ухом, как он вспоминал свою молодость, каялся, плакал и, рассказавши всю подноготную, обещался вести новую жизнь.

Иногда его даже и за язык никто не тянул – признаваться. Но стоило только потянуть за язык колокола – преступник без промедления вспоминал свою молодость и каялся во всем, разливаясь в три ручья.

Таково уж странное свойство праздничного перезвона.

* * *

Старый провокатор, носивший партийное прозвище – Волк, сидел в своей большой неудобной комнате и тревожно прислушивался к радостному перезвону праздничных колоколов.

Он вспомнил свою молодость, мать, ведущую его, маленького, чистенького, в церковь, и этот перезвон – мучительно радостный и ожидаательно-праздничный.

И когда он подумал о своем теперешнем поведении, о своем падении в пропасть предательства – сердце его сжалось и на глазах выступили слезы... А колокола радостно гудели:

– Бом-бом! Бом-бом!

– Нет! – простонал провокатор. – Больше я не могу!.. Сердце мое разрывается от раскаяния!.. Довольно грешить! Пойду и признаюсь во всем – пусть делают со мной что хотят. Никогда не поздно раскаяться в своих грехах...

Он оделся и вышел из дому.

* * *

Идя по улице, Волк бормотал себе под нос:

– Пойду прямо в полицию и расскажу все начистоту: как я выдавал революционерам ее тайны и как я однажды стянул со стола полковника предписание об обыске у своего знакомого эсэра. Все выложу! Пусть сажает в тюрьму, пусть делает со мной что хочет!..

– Бом-бом! Бом-бом! – радовались колокола. По мере приближения к дому полковника шаги Волка все замедлялись и движения делались нерешительнее и нерешительнее.

Новое чувство зажигалось в груди старого Волка.

– Куда я иду? – думал он. – Разве мне сюда нужно идти ка-

яться? Кому я делал тяжкий вред? Кого продавал? Товарищей! А они мне доверяли... Ха-ха! Туда и иди, старый Волк! Перед ними и кайся!

Взор его просветлел.

Он решительно повернулся и зашагал в обратную сторону, по направлению конспиративной квартиры товарища Кирилла.

– Приду и прямо скажу: так и так, братцы! Грешник я великий, за деньги продавал вас – простите меня или сделайте со мной что хотите.

Он всхлипнул и вытер глаза носовым платком.

Ему самому было жаль себя. Вдали показались окна квартиры товарища Кирилла.

– Приду и скажу, – бормотал Волк. – Обманывал я вас!.. И полицию обманывал, и вас обманывал. Полицию даже больше.

Он замедлил шаг, остановился и задумался.

– Гм... Ведь, если я полицию больше обманывал, я перед ней и должен каяться... Ей я и должен признаться, что вел двойную игру. Она не виновата в том, что она полиция, – она исполняет свои обязанности. Бедненький полковник... Сидит теперь дома и думает: «Вот придет Волк, парочку сведений принесет». А я-то!

– Бом-бом! Бом-бом! – разливались колокола.

Волчьи глаза увлажнились слезами.

Он решительно повернул и пошел назад.

– ...Сидит он и думает: «придет Волк, принесет парочку сведений». Хорошо у него, уютно. Лампа горит, на стенах картинки... Тепло. Это не то, что те, которые недавно влопались. Сидят по камерам и скрипят зубами. Поддедюлил вас Волк!

Он вздохнул.

– А ведь им теперь, поди, холодно, голодно, в камерах каменные полы. Они мне доверяли, думали – свой, а я... Эх, Волк! Глубока твоя вина перед ними, и нет ей черты предела.

– Бом-бом! – ревели колокола. – Покайся, Волк! Бом-бом!

Схватившись за голову, застонал несчастный и побежал к товарищу Кириллу.

– Все скажу! Руки их буду целовать, слезой изойду. Где моя молодость? Где моя честность?

* * *

К Кириллу Волк не зашел.

Долго стоял он на улице, раздираемый сомнениями и обуреваемый самыми противоположными чувствами. Ему смертельно хотелось покаяться, никогда так, как теперь, не жаждал он очищения, умиротворения мятущейся души своей, и долго стоял так Волк на распутье:

– Куда идти?

И не знал.

Мимо него быстро прошел человек, лицо которого по-

казалось Волку знакомым. Отложив на минуту раскаяние, Волк подумал:

«Где я видел этого человека? Да, вспомнил! Это Мотя. Я его частенько встречал в полиции!»

В Волке проснулись профессиональные привычки.

«Куда это он идет? Ба! Да ведь это подъезд товарища Кирилла!.. Неужели...»

Волк догнал Мотю и положил ему руку на плечо. Мотя обернулся, сконфузился и растерянно сказал:

– А, Волк! С праздником вас.

Но сейчас же он оправился, и его пронзительные глаза устремились на Волка.

– Вы... тоже сюда?

– Да, – сказал Волк, а про себя подумал: «Не думает ли он на меня донести, червяк поганый! Хорошо бы я был перед Кириллом».

Он переступил с ноги на ногу и сказал:

– Видите ли, Мотя... Мне почему-то хочется быть с вами откровенным: я, в сущности, партийный работник, а в полицию хожу так себе... для пользы дела!

– Вот и прекрасно! – обрадовался Мотя. – Тогда и я буду откровенен: ведь я, признаться, проделываю то же самое!

Но в глазах Моти Волк заметил странно блеснувший огонек, который слишком поспешно был потушен опустившимися веками.

«Эге!» – подумал Волк и, рассмеявшись, дружески хлоп-

нул Мотю по плечу.

– К черту уловки и хитрости! Я вижу – вы парень ой-ой какой. Ведь я насчет партийности-то подшутил над вами. Ну, какой я, к черту, партийный работник, когда на днях типографию провалил.

– Ха-ха! – закатился хохотом Мотя. – То-то! Сообразили. Но смех его показался Волку фальшивым, а глаза опять блеснули и погасли.

«Господи! – подумал, растерявшись, Волк. – Ничего я не разберу. Зачем бы ему являться к Кириллу, если он гласно работает на отделение? С другой стороны... Гм...»

Мотя раздумывал тоже.

Так они долго стояли, в недоумении рассматривая друг друга.

«Пойди-ка, влезь в его душу, – думал растревоженный Волк. – Ну, времечко!»

«Черт его знает, чем он, в сущности, дышит, – досадливо размышлял Мотя. – Ну, времена!»

Постояв так с минуту, оба дружески улыбнулись друг другу, пожали руки и разошлись – Мотя наверх, по лестнице, а Волк на улицу.

Выйдя на воздух, Волк вздохнул и прислушался: колокола перестали звонить.

«Ага! – облегченно подумал Волк. – То-то и оно. А то – каяться!»

Не размышляя больше, зашагал он к полковнику и вызвав

его, сообщил, что Мотя очень подозрителен, что он шатается по конспиративным квартирам и что за ним надо наблюдать.

А Мотя в это время сидел в квартире Кирилла и говорил, опасливо озираясь:

– Подозрителен ваш Волк... Шатается к полковнику, и, вообще, не мешало бы за ним наблюдать!..

Подмостки

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

– Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

– Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

– Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

– Божже мой! Божжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!».

– Ирина, – прошептал он, обращаясь к героине, – у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я вообще очень чувствителен и не могу видеть равнодушно, даже если на моих глазах режут человека. Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине – и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмосток...

* * *

– Можно пройти в уборную Эрастова?

– А вы не сапожник?

– Лично я не могу об этом судить, – нерешительно ответил я. – Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

– Пожалуйте!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

– Ваш поклонник! – отрекомендовался я. – Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

– Очень рад... садитесь!

– Спасибо, – сказал я, оглядывая уборную. – Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

– Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

– Не скромничайте, – возразил я, садясь.

– Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

– Какой старый башмак? – вздрогнул я.

– Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

– Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

– Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая – родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.

– Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

– Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб – я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать

девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в Н-ском театре, куда она мечтает пробраться...

– Неужели она такая?

– Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей – побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

– Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, – изумился я.

– Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах – Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем украл, – его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите – подождите... я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

– Васьки нет? – спросил он благодушно.

– Нет, – ответил я, вежливо раскланиваясь. – Очень рад с вами познакомиться – вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

– Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает

досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

– Неужели он такой? – удивился я.

– Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах – вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще займы не просил?

– Нет. А что?

– Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте – все равно не отдаст. Я вам скажу – он да Лучезарская...

В двери послышался стук.

– Можно? – спросила Лучезарская, входя в уборную. – Ах, извините! Очень рада познакомиться!

– Ну что, голуба? – приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. – Что он там?..

– Ужас, что такое! – страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. – Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

– Бедная вы моя, – ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. – Каково вам-то.

– Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю – вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

– Что вам говорил сейчас этот кретин?

– Он? Так кое-что... Светский разговор.

– Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

– Неужели? – испугался я.

– Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

– Неужели? За что?

– Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним – чистое мучение! Когда он да эта горилла – Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

– Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

– Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастьем с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

– Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

– Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил!!!

– Я это и раньше говорила, – пожала плечами Лучезарская. – Эта роль – главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

* * *

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

– Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

– Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и, растроганный, вытер глаза.

– Чего вы толкаетесь, – грубо проворчал я. – Болтают тут руками – сами не знают чего!..

Неизлечимые

*Спрос на порнографическую литературу упал.
Публика начинает интересоваться сочинениями
по истории и естествознанию.
(Книжн. известия)*

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залезалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

– В чем дело?

– Вещь!

– Которая?

– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

– Повесть?

– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

– «...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампы почки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – сухо спросил издатель.

– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

– А... еще... вот... Ззззб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

– Не надо, – сказал издатель.

– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.

– Не надо. Идите, идите с богом.

– В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

– Ладно, ладно. Знаем! Не помня себя, он бросился к ней,

схватил ее в объятия, и все завертел...

– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.

– Штука нехитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

– А где тут у вас корзина?

– Вот она, – указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

– О чем нужно?

– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

– А аванс дадите?

– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. БОЯРСКАЯ ПРОРУХА

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой, ты, гой, еси! – воскликнул он на старинном языке того времени.

– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте...

II. МУХИ И ИХ ПРИВЫЧКИ

(очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному – Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами, – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что... пишу?

– Ну, вообще – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?... Музыкантом...

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

– Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого...» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

– Можно писателем.

– «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

– А портрета еще не нужно?

– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

«Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем – справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?

– Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.

– Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавлиешь?

– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом, это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?

– Драму «Грани смерти».

– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стреглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

– Какой юбилей?

– Двадцатипятилетний.

– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные десять лет дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти.

– Ты рассуждаешь, как Толстой, – восхищенно вскричал Стремглавов.

– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

– Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты – я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Мозаика

I

– Я несчастный человек – вот что!

– Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

– Уверяю тебя.

– Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты несешь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, – пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

– Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

– Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

– Ты хочешь сказать – было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

– Нет, не в разное время, – вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев, – не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками:

– Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

– Оказывается, меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

– Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

– Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, – я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

– Мо-за-ики?

– Ну да, знаешь, такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

– Как же это вышло? – в ужасе спросил я.

– Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, ко-

торые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может – отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину – стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее sentimentalный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным, прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

– Да, это действительно похоже на мозаику.

– Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составила лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал – как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

– Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

– Как записываешь?

– В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута от-

кровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

– Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

– Спасибо. Вот видишь – скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

– Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется – я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти равнодушна ко мне»... Теперь дальше: «Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.».

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

– И так далее. Понимаешь ли – я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть...

Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насе. Подозрев.).

Я помолчал.

– А они... тебе верны?

– Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро – это тяжело до обморока.

Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные

стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

– Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

– Нет, – отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. – Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь – у Насти, которая живет на другом конце города.

– Как же ты устроишься?

– Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне – я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

– Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

– Что ты делаешь?

– Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка

Настя, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь – почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

– А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

– Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

– А зачем ты кольцо снял с пальца?

– Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей – надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то – кому они сказаны и по какому поводу.

– Несчастный ты человек, – участливо прошептал я.

– Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы: «2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это». И: «Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира – для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

– Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его обидела. Кстати, вы знаете – его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

– Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье. Узнал я об этом, по возвращении Кораблева, – от него самого.

III

– Как же это случилось?

– Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги – все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

– А по памяти восстановить не можешь?

– Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей – целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю – нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» – Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может – пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто – перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной – «я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире ни-

когда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

– Бедняга ты! – сочувственно прошептал я. – Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю – не прятать? Или нет – Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

– Не знаю, – простонал он, сжимая виски. – Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

– Еду к ней!

– Сними кольцо, – посоветовал я.

– Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

– Тогда надень темно-зеленый галстук.

– Если бы я знал! Если бы знать – кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

– Ну? Что, как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

– Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

– Что же случилось?

– Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Ляля, – сказал я ласково, – то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие...» Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, – сказала она, – к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». – «Маруся, – сказал я, – это недоразумение!..» – «Конечно, – закричала она, – недоразумение, потому что я с детства – не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти – это производное от слова «спать», и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

– А остальные? – тихо спросил я.

– Остались двое: Маруся и Дуся. Но это – ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши – будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

– Как так? – вскричал я.

– Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

– Что же ты теперь думаешь делать?

– Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

– Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре??? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

– Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

– Милый! Познакомь!

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просили жевать над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени, – и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал

немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?

– Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался. Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

– Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену:

– Почему она должна была солгать?

– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

– А он все-таки здесь!

– Не понимаю... – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился:

– Следят??! Кто следит?

– Эти вот... Сыщики.

– Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, отдельно ответила:

– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай

из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?

– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

– Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный – все как на ладони.

– Мы больше сидели все... около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.

– Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала со коври.

– Я уже отдала его слесарю.

– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу. Лязгов захлопал в ладоши.

– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

– Вы что-нибудь спутали, – пожала плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на

катке?

– Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера. Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.

– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись. Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.

– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой. Она вспыхнула.

– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

– Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

– Вы этого не сделаете!

– Отчего же не сделать?.. Сделаю!

– Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

– Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы – ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала

знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «Гранд-Отеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

— Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-Отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»

Поэт

– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

– Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению, только ваши стихи не подошли.

– Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

– Эти стихи не подошли?!

– Да, да. Эти самые.

– Эти стихи?! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

– Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

– Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

– Да вы бы их еще раз прочли!

– Да зачем же? Ведь я читал.

– Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

– Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

– Стихи не подходят.

– Удивительно. Знаете что: я вам оставляю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

– Нет, зачем же оставлять?!

– Право, оставляю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

– Не надо. Оставьте их у себя.

– Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени,

но...

– До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл...

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шлаться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать... и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я по-

жал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

– Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

– «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.

– Хотел бы я ей черный ло... Фу-ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом – в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

– Что такое?

– Тсс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что она очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон...

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

– От кого это?

– Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

– Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «каждое утро»... «черты... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаюсь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетавав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянкой, которая возвращалась с четырехлетним Володицей из кинематографа.

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел,

а бумажечку тебе принес.

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»... – ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов (вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя это-то на продажных тварей) и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало – кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать.

Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

* * *

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

Здание на песке

I

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

– Чья это ручонка? – спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

– Чья это маленькая ручонка?

Самое простое – жене нужно было бы ответить: «Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?»

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

– Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку.

Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

– Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

– Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем.

Или:

– Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

– Да нет же! – хохотал он. – Что у нас должно родиться?

– Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

– Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

– Мальчик.

– Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух: «Котлеты под морковным соусом».

Но говорю:

– Инженера.

– Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

– Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.

– Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.

Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.

Я трогаю пальцем один и робко говорю:

– Хороший нагрудничек.

– Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?

Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:

– Панталончики?

– Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?

– Видел. Три раза видел.

– Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.

Начинается тщательный осмотр колыбельки.

У мужа Мити на глазах слезы.

– Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка, – скажет он мне, – папочка, дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.

– Купи пуд, – советую я.

– Пуд, пожалуй, много, – задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.

Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:

– А кто меня должен поцеловать?

Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.

– А чьи это губки?

Из угла я говорю могильным голосом:

– Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!

– Что?

– Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличие всех этих вещей.

– Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?.. А где твои глазки?

– Эй! – кричу я. – Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!

Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:

– А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

«Дорог. Александ. Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?... Приходи, посмотрим на пустую колыбельку, она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!! Ого-го-го!!!»

«Бедняга помешается от счастья», – подумал я, взбегая по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

– Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо?

– Можно поздравить?

– Поздравь, – сухо ответил он.

– Жена благополучна? Здорова?

– Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

– Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался?

Муж Митя сардонически расхохотался:

– Ха-ха! Можешь поздравить... пойдем, покажу.

– Он в колыбельке, конечно?

– В колыбельке – черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с любопытством заглянул в нее.

– Послушай! – закричал я, отскочив в смятении. – Там, кажется, два!

– Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

– Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

– А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

– Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его:

– Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

– Да как же! Теперь я погиб...

– Почему?

– Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут – учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего перехо-

дили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать – она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

– Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

– Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

– Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

– Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины! Да поставь им на спине чернилами метки, чтобы при кормлении не путать... О, Господи!

Выходя, я натолкнулся в полутемной передней на какую-то громадную жестяную коробку. Поднявши, прочел: «Детская карамель И. Кукушкина. С географическими описаниями для самообразования».

Лентяй

На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок со мной сидел человек.

Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внимание, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее нелепым и странным поведением... Он сидел, скорчившись, подняв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, которую он читал, лениво водя по строкам полузакрытыми глазами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал глаза кверху и начинал смотреть на маленькую, ползущую по небу тучку или переводил взгляд на металлическую решетку сквера.

Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шевелил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевавшегося соседа.

Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодушно-сонным видом.

Но, перевернув таким образом несколько страниц, ветерок превратился в ветер и, дунув на нас, свалил книгу с колен сидевшего около меня господина.

Господин скользнул равнодушным взглядом по валяв-

шейся на дорожке книге и, закрыв глаза, задремал.

– Послушайте... Эй! Слушайте... у вас упала книга, – сказал я, дергая его за рукав.

Он открыл глаза и задумчиво посмотрел на книгу.

– Да. Упала.

– Так надо бы ее поднять!

Он обернулся ко мне, и в его сонных глазах засветилась хитрость.

– Не стоит вставать из-за этого... И вы сидите... Кто-нибудь другой поднимет.

– Да почему же? – удивился я.

В этот момент из-за поворота показалась женщина в платке, с корзинкой в руках. Поравнявшись с нами, она увидела книгу, инстинктивно наклонилась и сказала, поднимая ее:

– Книжечка, господи, упала!

После чего положила ее на скамейку и, недоумевающе посмотрев на нас, пошла дальше.

Мой сосед открыл сонные глаза и подмигнул мне:

– Видите! Говорил я вам.

– Неужели вам было трудно самому поднять книгу?

– А вы думаете – легко!

Я разговорился с ним.

Около меня сидел Лентяй, такой чистокровный и уверенный в своей правоте Лентяй, каких мне до сих пор не приходилось видывать.

– В сущности говоря, – жаловался он мне, – на человека

взвалена в жизни масса работы! Он должен пить, есть, одеваться, умываться, а если он религиозный, то и молиться Богу... Я уже не говорю о том обидном факте, что это даже не считается работой. Вы подумайте! Кроме всего этого, он еще должен работать! Миленькая планета, черти бы ее разодрали по экватору надвое!

– Как же вы живете? – спросил я.

– Какая же это жизнь, – простонал он. – Это мучение.

Наморщив брови, он, с явным желанием ошеломить меня, сказал:

– Представьте себе: вчера я должен был ехать к портному заказывать костюм!

Так как я остался равнодушным, то он продолжал:

– Да... заказывать костюм! Чтоб он лопнул по всем швам!

Выбирать материю, подкладку, снимать мерку...

Я не выразил ему никакого сочувствия.

– Поднимите, говорит, руки! Снимите пиджак... Не горбьтесь, вытяните ногу! А? Как это вам нравится...

– Жизнь ваша ужасна! – серьезно сказал я. – Отчего бы вам не покончить ее самоубийством?

Он откровенно сказал:

– Я уже думал об этом... Но понимаете, такая возня с этими дурацкими крюками, веревками... А тут еще эти письма писать... поздравительные, или как их там, что ли... Повозился, повозился, так и бросил.

Он поднял глаза к небу и сказал:

– Ах, черт возьми! Солнце уже заходит... Не можете ли вы сказать мне, который час?

– Мои стоят, – сказал я, взглянув на часы.

– Э, чтоб она пропала, эта преподлая планетишка! Крутится, крутится, а чего – и сама не знает.

– Часы можно проверить в магазине напротив сквера, – посоветовал я.

– Можно, – сказал он, ласково посмотрев на меня.

Я встал.

– Я пойду, посмотрю!

– Ах, мне так совестно затруднять вас! – воскликнул он, не вынимая рук из карманов. – Может быть, подождем прохожего, спросим у него.

Возвратившись, я нашел его в той же позе.

– Без двадцати семь.

– Что вы говорите! Чтоб это бабье попалил небесный огонь!

– Какое бабье?

– Да мне нужно сейчас в Александровский сад.

– Прекрасно! – сказал я. – Я тоже собираюсь туда. Отправимся вместе.

Лентяй не обрадовался, а умоляюще посмотрел на меня.

– Ради бога! Не могли ли бы вы оказать мне одну огромную услугу... Раз вы идете в Александровский сад, то это так кстати... А уж я вам потом чем-нибудь отплачу... Тоже схожу куда-нибудь... Или нет! Лучше подарю очень забавную

вещицу: китайский портабак... А?

– Сделайте одолжение! – сконфузился я. – Я и так...

– Вот что... На третьей скамейке боковой аллеи будет сидеть барышня в сиреневой шляпе. Это – моя невеста. Я ее очень люблю, и мы назначили свидание друг другу...

– Так отчего же вам не пойти! – вскричал я, пораженный. Он виновато улыбнулся.

– Я лучше здесь посижу. Знаете, придешь – расспросы разные, ласки... ухаживать за ней нужно, занимать разговором... Это страшно утомительно... чтоб они треснули, эти романы! А потом нужно провожать ее домой... Я уж лучше после когда-нибудь.

– Что же ей сказать? – угрюмо спросил я.

– Скажите, что я болен, что у меня температура... что доктора с ног сбились...

– А если она все-таки захочет видеть вас?

– Скажите, что у меня заразительная форма. Может быть, она испугается.

Пожав плечами, я протянул ему руку.

– До свиданья!

– Всего хорошего... Вот мой адрес... Очень буду рад, если зайдете! К невесте вы успеете как раз... теперь около семи часов.

Он вынул часы. Я воскликнул:

– Оказывается, у вас есть часы?!

– Да, – добродушно подтвердил он. – А что?

– Ничего... Прощайте!

* * *

Барышню я нашел в указанном месте. Подойдя, расклялся и вежливо сказал:

– Я от вашего жениха. Он болен и прийти не может!

– Как болен!? Да я его видела сегодня утром...

– Но сейчас он в опасном положении... У него... гм... температура.

– Какая температура?

– Такая, знаете... высокая! Что-то градусов сорок. Должен вам сообщить тяжелую весть: он лежит!

– Да он всегда лежит! Как только дома, так и лежит.

– Он страшно убивался, что не может вас видеть. Поставил себе термометр и говорит мне...

– Он поставил себе термометр? – строго спросила барышня.

– Да, знаете, Реомюра, такой никелиро...

– Сам поставил?

Я покраснел.

– Сам.

Она посмотрела мне в глаза.

– Зачем же вы лжете? Он сам никогда не мог бы сделать этого... Боже! Что это за человек? Нет, довольно! Передайте ему, чтобы он и на глаза мне не показывался!

– Если вы хотите ему насолить, то прикажите показываться вам на глаза три раза в день, – посоветовал я. – При его лени это лучший способ мщения.

Она рассмеялась.

– Ну, ладно! Скажите ему, чтобы он приехал завтра с утра. Мы поедем с ним по магазинам.

– Так его! – жестко проворчал я. Расстались мы друзьями.

* * *

Я стал бывать у Лентяя, и между нами возникла какая-то странная дружба. При встречах я ругал его на чем свет стоит, а он добродушно улыбался и говорил:

– Ну, бросьте... ну, стоит ли... ну, охота...

Вчера я зашел к Лентяю и застал его по обыкновению лежащим в кровати.

Около него валялась масса изорванной газетной бумаги и пальто, очевидно снятое и брошенное на пол впопыхах, по возвращении с обычной прогулки в сквере.

Лентяй повернул ко мне голову и радостно сказал:

– А-а, это вы! Признаться, я уже жду вас с полчаса...

– А что случилось?

– Не можете ли вы оказать мне одну дружескую услугу?

– Пожалуйста!

– Нет, мне, право, совестно! Я так всегда затрудняю вас...

– Да говорите! Если это для меня возможно...

– Я знаю, это вас затруднит...

– Э, черт! Вы меня больше затрудняете вашими переговорами!.. Скажите, что вам нужно?

– Не могли ли бы вы дать мне зонтик, который стоит в углу в передней?

– Что это вы! Неужели на вас дождь каплет?

– Нет, но проклятый портсигар, чтоб ему лопнуть вдоль и поперек, завалился за кровать.

– Ну?

– А в зонтике есть ручка с крючком. Я зацеплю его и вытащу.

– Так лучше просто засунуть руку за кровать.

Он почтительно посмотрел на меня.

– Вы думаете?

Я достал ему портсигар и спросил:

– Что это за бумага валяется вокруг вас?

– Газетная. Дурак Петр, чтоб ему кипеть на вечном огне, забыл на кровати разостланную сегодняшнюю газету.

– Ну?

– А я пришел и лег сразу на кровать. Потом захотелось прочесть газету, да уж лень было вставать...

– Ну?

– Так я вот и обрывал ее по краям. Оторву кусочек, прочту и брошу. Очень, знаете ли, удобно. Только вот с фельетоном я немного сбился. Как раз на середине его лежу.

Я открыл рот, чтобы обрушиться на него градом упреков

и брани, но в это время в открытое окно ворвался чей-то отчаянный, пронзительный крик.

Мы оба вздрогнули, и я подскочил к окну.

На воде канала, находившегося в двадцати шагах от дома, барахтался какой-то темный предмет, испуская отчаянные крики... На почти безлюдном в это время берегу бестолково бегала какая-то женщина и мальчишка из лавочки... Они махали руками и что-то визжали.

– Человек тонет! – в ужасе обернулся я к Лентяю.

Под ним будто пружина развернулась.

– Э, проклятый! – подбежал он к окну. – Конечно, тонет, чтоб его перерезало вечерним поездом!

И, сбросив пиджак, он камнем вывалился из окна. У Лентя был такой вид, что, будь окно в третьем этаже, он вывалился бы из него так же поспешно. К счастью, квартира Лентя была в первом этаже.

Помедлив минуту, я выпрыгнул вслед за ним и помчался к берегу.

Лентяй был уже в воде. Он плыл к барахтавшемуся человеку и кричал ему:

– Как можно меньше движений! Делайте как можно меньше движений!

Я уверен, что этот совет он давал просто из присущей ему лени.

Но сам Лентяй на этот раз обнаружил несвойственную ему энергию и сообразительность. Через пять минут мы уже вы-

таскивали на берег плачущего извозчика, который имел глупость упасть в канал, и моего Лентя – безмолвного, мокро-го, как умирающая мышь.

Зубы у него были стиснуты и глаза закрыты.

Извозчик сидел на берегу и всхлипывал, а какой-то подошедший лавочник наклонился к лежащему Лентяю, пощупал его и сказал, снимая фуражку:

– Шабаш! Кончилась христианская душа!

– Как кончилась? – в смятении воскликнул я. – Не может быть! Он отойдет... Мы его спасем... Братцы! Помогите отнести его в квартиру... Он тут же живет... тут...

Мокрый извозчик, баба, лавочник и мальчишка подняли тело Лентя и, предводительствуемые мною, с трудом внесли в его квартиру.

Вся компания взвалила его на кровать, дружно перекрестилась и тихонько на цыпочках вышла, оставив меня с телом одного.

Тело пошевелилось. На меня глянул хитрый глаз Лентя.

– Ушли? – спросил он.

– Боже! Вы живы!! А я думал...

– Вы извините, что я вас затруднил. Мне просто не хотелось мокрому возвращаться на своих ногах, и я думаю: пусть это дурачье, чтоб их перевешали, понесет меня на руках. Я вас не затрудню одной просьбой?

– Что такое?

– Нажмите кнопку, которая над моей головой! Хотя мне,

право, совестно...

Ниночка

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробежали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

– Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

– Почему же? – удивилась Ниночка. – Я за это жалованье получаю.

– Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

– Грудь не болит.

– Я очень рад. Вам не холодно?

– Отчего же мне может быть холодно?

– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

– Оставьте мои руки в покое!

– Милая... Одну минутку... Пойдите... Зачем вырывать-ся? Я, это самое... рукав, который просвечив...

– Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

– Мерзавец, – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не прощу.

Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась: «К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

– Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? – ласково спросил адвокат Язычников.

– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.

– В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

– Ну, притяните.

– У вас есть свидетели?

– Я – свидетельница, – сказала Ниночка.

– Нет, вы – потерпевшая. Но если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверное, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

– Покажите руку, – сказал адвокат.

– Вот тут, под кофточкой.

– Вам придется снять кофточку.

– Но ведь вы же не доктор, а адвокат, – удивилась Ниночка.

– Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

– Нет, не знаю.

– Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличие преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко рас-

стегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал:

– Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?

– Не трогайте меня! – вскричала Ниночка. – Как вы смее-ете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

– Чего вы обиделись? Я должен был еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

– Вы – нахал! – перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила себе:

«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.

Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

– Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

– Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

– Зачем же совсем? – вспыхнула Ниночка. – Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

– Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

– Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам – друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся маской добродетели».

Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Гронову, который пользовался большой популярностью, славил-

ся как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

– Ха-ха! – горько засмеялся он. – Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз – справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

– Прикажете снять кофточку? – робко спросила Ниночка.

– Кофточку? Зачем кофточку?... А впрочем, можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

– Однако руки же у вас... разве можно выставять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать подобного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:
«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

V

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

– Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

– Меня сегодня обидели, Ихневмонов, – садясь, скорбно сообщила Ниночка.

– Ну!.. Кто?

– Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

– Чем же они вас обидели?

– Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

– Так... – перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, – это нехорошо.

– У меня рука болит, болит, – жалобно протянула Ниночка.

– Экие негодяи! Пейте чай.

– Наверное, – печально улыбнулась Ниночка, – и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.

– Зачем же ее осматривать? – улыбнулся студент. – Есть синяк – я вам и так верю.

Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.

– До сих пор рука горит, – пожаловалась Ниночка. – Может, примочку какую надо?

– Не знаю.

– Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, – я вам верю.

Ихневмонов пожал плечами.

– Зачем же вас затруднять. Будь я медик – я бы помог. А то я – естественник.

Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:

– А вы все-таки посмотрите.

– Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?... Гм... Действительно синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.

Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.

Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее матовое пле-

что блестело при свете убогой лампы.

– Вы бы одели в рукав, – посоветовал Ихневмонов. – Тут чертовски холодно.

Сердце Ниночки сжалось.

– Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, – сказала Ниночка неожиданно после долгого молчания.

– Экий негодяй! – мотнул головой студент.

– Показать?

Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:

– Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь – что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.

Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.

– Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.

– Отчего же, помилуйте, – сказал Ихневмонов, энергично трясая на прощанье руку Ниночки.

Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:

– Какие все мужчины негодяи!

Рыцарь индустрии

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

– Почему же не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. – Конечно же, можете.

– Зайдите ко мне в таком случае! – сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

– Цацкин.

– Очень рад. Не ушиблись ли вы?

– Чтобы сказать вам – да, так – нет. Чистейшей воды пустилки.

– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? – сказал я, подмигивая. – Хи-хи!

– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев? Хе-хе! Не желаете ли, могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского.

– Нет, зачем же? – удивленно сказал я, всматриваясь в него. – Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?

– Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

– Так вы – агент по страхованию жизни! – сухо заметил я. – Чем же я могу быть вам полезным?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик: как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после – дай вам Бог здоровья – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет. Я одинок.

– А супруга?

– Я холост.

– Так вам нужно жениться. Очень просто! Могу вам предложить девушку: пальчики оближете. Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она

такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет... Если нет – можно купить готовые. Адрес: магазин «Оборот», наша фирма...

– Господин Цацкин! – возразил я. – Ей же богу, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни.

– Ой, не созданы! Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собой радость каждому меланхоличному мужчине: шесть тысяч книг бесплатно. Имеет массу благодарностей. Пробный флакончик...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.